

Александр Грин

Гранька и его сын



Александр Грин
Гранька и его сын

«Public Domain»

1913

Грин А. С.

Гранька и его сын / А. С. Грин — «Public Domain», 1913

Сын мужика Граньки бросил городскую квартиру, «дорогой граммофон», «венскую мебель», возвратился в родную глухомань и сказал отцу: «Думаешь, — вышел в люди — рай небесный. Вопросы появляются...» © FantLab.ru

Содержание

I	5
II	8

Александр Степанович Грин

Гранька и его сын

I

Щучий жор достиг своего зенита, когда Гранька, работая кормовым веслом, обогнул излучину озера, время от времени вытаскивая на прыгающей, как струна, лесе хищных, зубастых и мудрых щук, погнавшихся за иллюзией, то есть оловянной блесной. Гранька глушил рыбу деревянной черпалкой, бросал на дно лодки, где в мутной луже, черневшая серебром, змеилась гора щук, больших и маленьких; осматривал бечевку с блесной и гнал лодку дальше, пока леса, резнув руку, не телеграфировала из-под воды, что новая добыча проглотила крючок.

Внешность мужика Граньки не заключала в себе ничего мальчишеского, как можно было бы думать по уменьшительному его имени. Волосатый, с голой, коричневой от загара и грязи грудью, босой, без шапки, одетый в пестрядинную рубаху и такие же коротенькие штаны, он сильно напоминал заматерелого в ремесле нищего. Мутные, больные от блеска воды и снега глаза его приобрели к старости выражение подозрительной нелюдимости. Гранька бежал к озерам тридцати лет, после пожара, от которого благодаря охотничьей страсти ему удалось лишь сохранить самолов да пару удилиц. Жена Граньки ранее того опилась молоком и умерла, а сын, твердо сказав отцу: «С тобой либо пропасть, либо чертей тешить, не обессудь, тятя», – ушел в губернию двенадцатилетним мальчишкой в парикмахерскую Костанжогло, а оттуда скрылся неизвестно куда, стащив бритву.

Гранька, как настоящий язычник, верил в бога по-своему, то есть наряду с крестами, образами и колокольнями видел еще множество богов темных и светлых. Восход солнца занимал в его религиозном ощущении такое же место, как Иисус Христос, а лес, полный озер, был воплощением дьявольского и божественного начала, смотря по тому, – был ли ясный весенний день или страшная осенняя ночь. Белая лошадь-оборотень часто дразнила его хвостом, но, пользуясь сумерками леса, превращалась на расстоянии десяти шагов в березовый пень и белую моховую лужайку. Ловя рыбу, мужик знал очень хорошо, почему иногда, в безветрие, ходуном ходит камыш, а окуни выскакивают наверх. Гранька жил при озере двадцать лет, продавая рыбу в базарные дни у городской церкви, где бесчисленные полудикие собаки хватают мясо с лотков, а бабы, таская в расписных туесах сметану, размешивают ее пальцем, любезно предлагая захожему чиновнику попробовать, пока не облизала палец сама.

Тусклый предвечерний туман с красным ядром солнца над лесистыми островами скрыл водяную даль, погнав Граньку к избе. Промысловая изба его стояла на болотистом, утоптанном городскими охотниками мыску, в грандиозной панораме лесных трущоб, островов и водяных просторов, зеленых от саженого тростника; избу трудно было заметить неопытным в этих местах глазом. Выезжая к избе, Гранька через камни увидел оглобли и передок телеги, тут же мотался хвост скрытой кустами лошади. На темном фоне сосновых холмов штопором извивался дымок.

– Стрелки, добытки, лешего же, прости господи, – зашипел старик, отталкивая веслом сплошной бархат хвоста, задерживавшего ход лодки. Гранька ожидал встретить кого-нибудь из городских лавочников или чиновников, наезжавших к озеру с ночевкой, водкой и даже девицами из обедневших мещан. Озерной и лесной дичи в этом месте хватило бы на целую роту, но охотники, расстреляв множество патронов, обыкновенно уезжали с жалостной и малой добычей, всадив на прощанье в бревенчатые стены избы фунта два дробы, «в цель», как они выражались, немилосердно хвастаясь своими «скоттами» и «лепажами».

Старик, вытащив из лодки сваленных в мешок щук и недружелюбно щурясь на дым, подошел к избе. Черная, с низкой крышей лачуга безмолвствовала, людей не было видно, рыжая лошадь, измученная комарами, вздрагивая худым крупом, жевала сено.

– Одер-то Агафьина, а кого приволок, – сказал Гранька, входя, согнувшись пополам, в квадратную дверь зимовки. Щелевидные окна еле намечались в густой тьме, пахло сырым сеном и кислым хлебом, звонкое полчище ужасных северных комаров оглашало темное помещение заунывным нытьем. Старик ощупал лавки и углы, здесь тоже никого не было.

Гранька вышел, озираясь из-под руки по привычке, так как утомительный блеск солнца погас, сменившись прелестными, дикими сумерками. Комары струнили над землей и водой; над островерхим мысом струился еще бледный огонь заката, а внизу, по воде и болотам, и берегом, за синюю лесную даль, легла прозрачная тень. Казалось, что и не подступают к мысу воды озера, а повис он над бездной среди ясных, дымчато-голубых провалов, полных таких же белых овчин-облаков, что и над головой, тот же опрокинутый берег, а у тростника – дном ко дну две лодки с одинаково торчащими веслами.

Сырее стал воздух, сильнее запахло дымом пополам с тиной. Гранька осмотрел телегу; на ней, в сене, чернела шомпольная одностволка Агафьина. Задняя ось носила заметные следы придорожных пней, чека у левого колеса была сбита и укреплена ржавым гвоздем.

– По оврагам у железных ворот перся, – сказал Гранька, – напрямки ехал, а один сам. Накося!

Он подошел к выставленному перед зимовкой столу, вынул из мешка скользких щурят, выпотрошил их пальцем и бросил в котелок, подвешенный на проволочном крючке меж двух наклонно забитых кольев, и, тщательно охраняя в пригоршне спичку, развел потухший костер, затем, почесав спину, сел на скамью.

Из кустов вышел Агафьин, волоча весла, скорым шагом, прихрамывая, пересек мысок и бросил весла к избе.

– Бабылину лодку прятал, – сказал он, – просил Бабылин. Изгадят, говорит, лодку мне утошники-те, на дарма ездят, рады.

Мужики помолчали.

– Кого привез? – таким тоном, как будто продолжал давно начатый разговор, спросил Гранька.

Агафьин хлопнул руками о колени, тряся бородой у самого лица Граньки, привстал, сел и стал кричать, как глухому, радостно скаля зубы:

– Сын твой, Мишка-то, а сына-то забыл, нет, сын-от твой, Михайло, сказываю, тут он, ась?! В чистоте приехал, в богатстве, земляк мой ведь он, а! Ха-ха-ха! Хе-хе-хе!

Гранька беспомощно замигал, выражение загнанности и недоумения появилось у него на лице.

– Будет же врать-то, – испуганно сказал он, – Мишка, поди, померши, давно ведь он... это.

– Да тебе сказываю, – снова закричал, волнуясь, Агафьин, – на пароходе он прикатил, утресь; а я, вишь, дрова возил, а с палубы, вишь, на вольном воздухе кои сидели чаевали, кричит – «подь сюда», – я, значит, то самое – «здрате», а он на тебя, – «батя, – говорит, – жив, ай нет?» И обсказал, а я поленницу развалил, да единым духом, свидеться, значит, ему охота, на чай рупь дал, нако!

Гранька прищурился на котелок, где, толкаясь в крутом кипятке, разваривались щурята. Есть ему не хотелось. Он мысленно увидел сына таким, каким запомнил: волосатый, веснушчатый, с пальцем в носу, с умными и упрямыми глазами, встал между ним и костром призраком родной крови.

– Экое дело, – сказал он дребезжащим голосом, пихая ногой к огню полено, – ишь, старые змеи, объявился когда, да ты по совести – врешь или нет? – Он жестоко воззрился на Агафьина,

но в лице мужика ясно отражался переполошивший всю деревню факт. – Да ты чего сел-то, – умиленно вскричал Гранька, – завести Дуньку в оглобли. Поехали, право, поехали, а?

Старик схватил лапти, висевшие на одном гвозде с распяленной для сушки шкурой гагары, стал мотать онучи, ухитрился в двух шагах потерять лапоть и, наступив на него, искать.

За мысом, мелькая в черных вершинах сосен и деловито крикая, неслись утки.

II

Агафьин смотрел на Граньку, силясь уразуметь, куда собрался старик, и, смекнув, что тот, не поняв его, рвется в деревню, сказал:

– Тут он, со мной приехал.

– Игде? – спросил Гранька, роняя лапоть.

– Палочку состругнуть пошел, тросточку. Скучая, полштоф вина выпили с ним.

Из леса, дымя папиросой, показался человек в городском костюме. Завидев мужиков, он пошел быстрее и через минуту, прищурившись, с улыбкой смотрел вплотную на старика Граньку.

– Вот и я, – сказал он, неловко обнимая отца.

Гранька, вытерев о штаны руки, прижал их к карманам сына и прослезился.

– Миш, а Миш, – бормотал он, – приехал, значит.

– А то как же... – громко, отступая, сказал Михаил. – Дай-ка я посмотрю на тебя, старик, – он обошел вокруг Граньки кругом, паясничая, подмигивая Агафьину, и стал серьезен. – Настоящие мощи, неистребимые. Как живешь?

– Маненько живу, мать-то померла, знаешь?

– Должно быть. Старуха была. – Михаил положил руку на плечо Граньке. – Ну сядем.

Агафьин снял котелок и чайник, поставил на стол чашки и пестерек с сахаром. Отец с сыном сидели друг против друга.

Гранька не узнавал сына. От прежнего Мишки остались лишь вихор да веснушки; борода, усы, возмужалость, серый городской костюм делали сына чужим.

– Везде я был, – жуя сахар, рассказывал Михаил.

Агафьин не сводил с него крупных, восторженных глаз, твердя, в паузах, бойко и льстиво: – Ишь ты. Дела, брат, первый сорт. Эх куры – петушки.

– Был везде. Последние два года прожил в Москве; там и жена моя; женился. Поступил в пивной склад заведующим. Жалованье, квартира, отопление, керосин.

Он сломал крепкую, как железо, баранку, выпил налитый Агафьиным пузатый стаканчик водки, поддел пальцем из котелка щуренка и отсосал ему голову.

Сидел, двигал руками и говорил он просто, но не по-мужицки. Но и тону не задавал, а, видимо, вел себя – как привык. Рыбу он тоже ел пальцами, но как-то умелее. Гранька и Агафьин преувеличенно внимательно слушали его, тряся головами, поддакивая напряженно и счастливо. Он же, попивая из чайника дымный чай, расставив на столе локти, а под столом ноги, рассказывал историю хмурого и смекалистого парнюги, ставшего для деревни барином, «своим из чистых».

Взошла луна и стало еще светлее, мертвенный день без солнца остался над покоем озер. Уныло звенели комары; в земляной яме, треща красными искрами, дымились головни; у берега, разводя круги, плюхалась от щуки рыбная мелочь, а лесистые острова, холмы стали чернее, строже, глубже тянулись опрокинутые двойники их в чистую сталь озер. Озаренная луной, спала земля.

– Жить буду у тебя, тятя, – сказал вдруг Михаил. Мужики опустили блюдечки, раскрыв рты. – Вот так, хочу жить при тебе. Не прогонишь? – Он засмеялся и закурил папиросу, а Агафьин, подхватив уголек рукой, сунул ему.

– С тем и приехал.

– Поди-ко, – сказал Гранька, – ублестишь тебя ноне.

– А что ты думаешь, – Михаил засмеялся. – Пора пришла, старик, нажился я. Действительно, вышел я в люди и все такое. Сперва пятьсот получал, теперь тысячу. Венская стоит мебель, граммофон купил дорогой, играет. Приказчики шапки ломают, а я им к праздничку на

чаек даю. А какой смысл? Далее для чего мне работать, хозяину вперед забежать, на ломовых горло драть. Вышел я, верно, что говорить, человеком стал. А за каким с... с...м мне этим человеком по земле маяться? Собаке, брат, лучше. У меня собака есть, пуделек, ей блох чешут, ей-ей. Ну, – тоскливо мне, проку из меня настоящего мало, махнул к тебе, подрезвиться хочу, закис, и, видишь ли ты, пью, ей-богу... как пьют – в кабаках знают. Думаешь – вышел в люди – рай небесный. Вопросы появляются.

– Миш, а Миш, – забормотал Гранька, – ты не моги. Против своей жизни не моги.

– Михайло, – сказал Агафьин, хватая рукой бороду, – обскажи, на меркуны, слышь, на Москве из трубок глядят, господа не бояться.

Михаил рассеянно посмотрел на него, но уловил смысл вопроса.

– Это телескоп, – сказал он. – Смотрят, как звезды ходят.

– Вот то самое, – подхватил Агафьин.

– Ну, завтра поговорим, – сказал Михаил. – Положи меня, старик, дай вздохнуть.

Он осмотрелся. Ночевье не изменилось, камыш, вода и избушка были на старом месте.

Все трое легли спать на старых мешках, от которых еще пахло мукой. Агафьин подбросил сена, а Гранька вынес зипуны. Еще поговорили о земляках, рыбе, Москве. Наконец, Агафьин уснул, храпя во все горло. Старик и сын, словно по уговору, сели. Обоим не спалось в духоте ночи, впечатлений и дум.

– Да, буду здесь жить, – громко сказал Михайло. – Как ехал – мало об том думал. Приехал – вижу, место нашел себе. И спокойнее.

– Живи, – сказал Гранька, – рыбу ловить будем.

– И деньги есть.

– Утресь рачни посмотрим. Сколь тебе годов-то теперь, Миш?

– От твоих тридцать долой, только и есть.

Укладываясь, оба думали и заснули, подобрав ноги.